

НОВЫЕ РАССКАЗЫ

Трава-мурава

Никогда Изот Петрович не испытывал такой щемящей тоски и угнетения, как в этот ясный и тихий июльский день, очутившись на тропинке, которую когда-то топтали его босые ноги. Помнилась она Изоту Петровичу веселой, торной, бойко бегущей через луг, вдоль и поперек ложков, вниз и вверх по релкам и, наконец, — по становнику, заросшему сочным высоким лесом и буйной травой. В то время он знал все камни и валежины потому, что у них были свои обличья, знал муравьиные пирамиды и кротовьи ходы. Эти ходы он иногда затапывал, чтобы узнать, свежий он или давний, живет тут зверек или нет. Крот почти всегда исправлял свой ход, приходилось только удивляться настойчивости и умению зверька. Знал он ключики с ледяной водой, из которых можно было напиться через дудочку, срезанную тут же. Знал, где растет красная смородина-кислица, а где малина. Тогда тропинка была испечатана подковками и каблуками, пальцами и пятками босых ребячьих ног. А в лесу она была гладкой и влажной, и, если, бывало, припустишь по ней во весь дух босиком, только шлепоток пойдет. Так случалось, когда рывкал дикий козел и пугал до смерти, или когда удавалось запустить палкой в пень, где жили шершни-девятерики. Говорили, что девяти их укусов будто бы вполне достаточно, чтобы человек помер. Тут уж дай бог ноги!

Теперь тропинка еле угадывалась, да и то потому, что заросла травой более мелкой и светлой, чем обочины.

Где-то вот здесь, на низкой релке, спадающей в согру, стояла гладкая, прямая и высокая, как колонна, береза. Из бересты ее дед Изота Петровича изладил однажды большие, украшенные узорами туески. В таких туесках носили молоко и квас, когда шли на работу. С ними же ходили по ягоды и грибы. У деда был свой любимый туесок — узкий, высокий и красноватый, как медь. Уходя в тайгу, он наливал в него не квас, не молоко, а янтарно-пенную медовуху с хлебной и опускал бережно в заплечную котомку.

Охотник, умелец, знаток всякого лесного промысла, дед всегда что-нибудь ладил. Носил он мягкие самодельные ичиги, домотканые шаровары и фланелевую просторную толстовку, отчего и сам казался округлым и мягким. С русой окладистой бородой, басовитым и неторопливым говором, напоминал он Изоту Петровичу озабоченного, работающего шмеля. И пахло от него шмелиным гнездом — воском, древесным соком и земляным корнем.

В ту пору тропинка соединяла село Стародубское с таежной заимкой. Здесь стоял сначала лишь один большой дом с узорчатым карнизом, нарядными наличниками и открытой верандой, отсюда хорошо виделся луг под горкой, светлая шумливая речка Калташка и пихтовый подсеверный косогор за ней.

Дом принадлежал деду Изота Петровича и его братьям, погибшим в партизанах во времена колчаковщины. В пору расцвета семьи в доме жили дед с бабушкой, шестеро их сыновей, две дочери, две снохи

и четверо внуков. Потом сыновья начали делиться, и на заимке появилось еще два двора. Вскоре после раздела двое сыновей — один из них был отцом Изота — покинули заимку, переехали в Стародубское и там вступили в колхоз. Дочери вышли замуж и тоже разлетелись. Еще один сын со снохой перебрались на прииск, а трое младших остались при деде.

Случилось так, что во время раздела произошло и раскулачивание деда на том основании, что имел он такой дом и большую пасеку. Да еще был лишний скот, который сыновья хотя и поделили, но не забрали пока с заимки. Дед скрывался в тайге, а сыновья долго искали оставшихся в живых и разбросанных по Алтаю партизан, у которых ему довелось быть проводником в тайге и снабжать их всякими припасами.

Прошло немало времени, пока собрали нужные бумаги. В них было написано, что дед участвовал в партизанском движении, что два его брата погибли за Советскую власть и что батраков он не держал, а зажиток скопил благодаря большой и дружной семье. Деда не тронули. Но после всего, что произошло, в крестовом доме стало пусто и скучно. Да и сам дед стал прибалывать, стариться и без помощи сыновей уже не мог хозяйствовать.

Через два или три года и он переехал в Стародубское. Дом разобрали и перевезли туда же, под колхозную контору.

С той поры прошло почти тридцать лет. Деда и бабушку уже давно похоронили. Отец Изота и еще три его брата погибли на войне, один умер от чахотки, и только самый младший — одногодок Изота Петровича — остался в Стародубском. Изот Петрович отслужил армию, закончил партшколу и много лет проработал журналистом на Дальнем Востоке — Колыме и Камчатке. И вот взял отпуск, съездил в Крым, а на обратном пути навестил дядю-одногодка. И потянуло его посмотреть на то место, где он на свет появился.

Наверно, нет на земле человека, который не испытал бы трепета и волнения, ступая на свои первые следы после многолетней разлуки. Пусть они уже заросли бурьяном или на месте их поднялся сказочный город — все равно человек будет волноваться. Ведь та страна, которую он впервые открыл когда-то, была самой лучшей на земле. А теперь она осталась только в памяти, только в сердце.

Шел Изот Петрович по тропинке, и ему казалось, что заросла она лишь потому, что он давно не ходил по ней, а на самой заимке все осталось как прежде, как он помнил. Может, с заимки проложена



Николай Иванович Фотьев родился в 1927 году. Детство и юношеские годы провел в Алтайском крае. С 1950 года живет в Амурской области. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. Работал зоотехником, потом журналистом.

Н. И. Фотьев автор сборников басен, очерков, книг рассказов «Те далекие свидания», «Мужчины в доме».

новая тропа, еще более торная, чем была когда-то вот эта. Может, скоро он близко увидит то, что в последние годы часто неясно видел во сне: золотой солнечный свет, чистая небесная высь, родные горы с темными, похожими на монахинь, пихтами и светлыми, как отбеленный холст, стволами берез, веселая травка-топтун на широком дворе, щенки и цыплята на ней, звон пасеки, яркие ульи и дед с вынутой из улья янтарной рамкой, заполненной медом. Прекрасно, чудно, сказочно на заимке — а дед печален и даже нелюдим. Ведь он знает, что умер, знает, что давно ушел из живых и никогда к ним не вернется. Вот и ходит он по пасеке в нарушение загробных порядков, но не как хозяин, а как мимолетный гость, которому ничто здесь не принадлежит.

Изот Петрович и во сне знал, что это сон. И все-таки, проснувшись, долго лежал с детской какой-то грустью в душе. И сейчас, когда он, с трудом пробивая ногами густую траву, шел по совершенно реальной земле, ему все казалось, что вот появится накатанная дорога, по которой он бегал босиком. Однажды, безутешно ревя, он гнался по этой дороге за матерью, не взявшей его на жатву. Он так и не догнал ее и в невыразимом горе вернулся к бабушке.

За думами Изот Петрович как-то незаметно вышел на луг, где раньше в обход горы шла колесная дорога, и увидел, что дорога эта покрыта травой. Росли на ней хорошие покосные травы — волоснец и мятлик, — и потому дорога казалась ворсистой ковровой лентой, более светлой, чем все окружающее. В детстве Изот Петрович и его дядя-одногодок, бывало, радуясь, бегали на четвереньках вот по такой травке-муравке и, подражая коням, срывали ртами сиреневые метелки, жевали и проглатывали их. На чуть заметном бугорке, пообтесанном когда-то колесами, виднелось несколько метелок овса. Может, еще с тех самых пор он рос и осыпался, рос и осыпался. Снега тут глубокие, корень не вымерзает.

День стоял тихий и жаркий, парило, как перед дождем, но туч не было. Изот Петрович вспомнил, что в глубоких дальневосточных падах, заросших густым вейником, в такую пору всегда бывает парко и душно. А в этих местах раньше он ничего подобного не испытывал.

Слева тянулся невысокий, но крутой косогор с двумя-тремя кучами рыжей земли, нарытой хомьяками. Здесь, на солнцепеке и крутяке, трава всегда невысокая, и тут, стелясь по земле, росла, бывало, земляника и грелись на солнце серые и черные гадюки. Кажется, земляника росла и сейчас. Изот Петрович оглянулся, ища глазами знакомые, широкие и чистые покаты с воробьевскими пашнями. Сюда-то и бежал он когда-то за матерью. Они виднелись за логом, отсекавшим крутяк, все так же широкие и открытые, но сильно заросшие дудником и другой травой. На самой середине покатай поднялось даже несколько очень пушистых и густых до черноты пихточек.

Вот и Воробьевская гора, а дальше за ней — Воробьевская заимка, названная по фамилии основателей, один из которых был дедом Изота Петровича. Когда-то про эту гору Изот Петрович говорил: «Наша гора». А все остальные горы были Малая сопочка, Большая, Петушок да Осиновая, да Каменная, да Синюха...

А вот и речка Калташка. Старые переходы давно сгнили, рухнули в воду, и их унесло в залом. Остался стоять лишь большой кол с вилагой, в которой лежала затесанным комлем сломавшаяся жердина, служившая когда-то поручнем. Выше через речку кто-то свалил старую пихту. По ней Изот Петрович и перешел на ту сторону. Пихтовая хвоя осыпалась под руками и, напеченная жарой, сильно пахла. Сухие мертвые веточки были жестки и колючи. Склон Воробьевской соп-

ки, густо заросший пихтачом, тоже пахнул вяленой хвоей и скипидаром.

Дорога здесь всегда шла по самому берегу, над глубокими омутками, которые, бывало, пугали маленького Изота. Речка успела подмыть дорогу, та обвалилась, и часть ее, схваченная дерном, висела над водой. Дальше дорога виднелась уже в начале излучинки, выше по течению. Изот Петрович обошел излучинку по высокому пырею и кочкам и осокой, заглянул в омуток. В светлой воде мелькнули чуть видимые стрелы — хариусы. В Калташке всегда водились хариусы: вода в ней холодная, светлая, бегущая по камням и камушкам. Дед на Калташке ставил морды и вентера. Ох, и вкусны были пироги с рыбой!

Сейчас кончится пихтач и вон там, за белеющими купами цветущего дудника, откроется большая чистина, спадающая с отлогого косогора на луговину. Сейчас, сейчас... Еще пятьдесят шагов, тридцать... десять... Как бьется сердце! Вдруг как всегда покажется веселый большой дом на взгорке, выше — разноцветные ульи пасеки и дедова фигура между ними. Ниже — амбары и амбарчики, пригоны, огород. И все это обнесено крепким рубленным заплотом. Заплот ставили в ту же пору, что и дом, дед и его братья. Тогда здесь шлялись медведи и волки, поэтому на ночь скот загоняли на подворье и закрывали крепкими воротами. Заплот потом пустили на дрова. Надо было видеть дедово лицо, когда он собственными руками рушил свое хозяйство.

Стой... Ведь это и есть то чистополье, где стояла заимка. Какой покой, какое запустение! Буйная высокая трава поглотила все. Ни столбика, ни кола, ни места, где стоял дом на высоком цоколе, — все сравнялось. Там и тут толпились теперь юные березки и осинки. С какой жадностью набросилась природа заращивать оставленное человеком обиталище! Что ж. Она права. Она не ленится и делает свое дело исправно. Но живое человеческое сердце, полное светлой памяти об этих местах, может ли оно смириться? Оно подчиняется рассудку, который рано или поздно все ставит на свои места, но вряд ли, пока оно живо, умрут в нем первые видения, из которых сотворился образ родины. Больно видеть, как под неразумным топором падают столетние деревья, как беспощадно перекраивается ландшафт, как беднеет флора и фауна. Но тут сразу же находится и утешение — на этом месте поднимется город, дворец, мост, проляжет дорога. Потом природа залечит свои раны, и новая, разумная красота станет для кого-то, может, еще более дорогой, чем та, что была прежде. А вот такое, как здесь, не хочется человеку. Ой, как не хочется, чтобы его труды пошли прахом, чтобы природа перечеркнула их.

Можно было бы продраться через траву и березнячок на косогор, где стоял дом. Но Изот Петрович словно бы изнемог и обошелся тем, что уселся на красноватый валун, лежащий над обрывом у Калташки. Он окинул взглядом все, что когда-то было заимкой, и попытался восстановить прежние приметы. На самом верху, за пасекой, было кладбище. Здесь похоронили дедовых братьев и детей, умерших младенцами. А теперь на месте кладбища поднимался молодой свежий лес. Слева от дома было клеверище, где летом в несколько дней вырастали кудрявые, не похожие на луговые, стога. Меж ними, задирая хвосты и взбрыкивая, бегали телята и жеребята. Стога обносили остожьями. Ульи стояли в разных местах — и там, где клеверище, и дальше, на прилавке за клеверищем. Однажды Изота кто-то обидел. Он был гордый и не хотел казать слез, а плакать хотелось. Тогда он сказал братцу: «Давай пойдем плакать на старую пасеку».

То ли от духоты, то ли от тоски, охватившей Изота Петровича, ему вдруг стало очень нехорошо. Он сидел не двигаясь, а с него градом катился пот.

Ах, какая тут тишина, какая вымахала трава! Нигде больше он не видел такой густой, высокой и жирной травы. Знать, все, что тут осталось от людей, пошло ей на пользу.

Все здесь дремало, все молчало. Только речка текла и бормотала как во сне. И если бы вдруг раздался в эту минуту чей-то голос, пусть даже из-под земли, он, кажется, обрадовался бы.

Изот Петрович закрыл глаза. Возникли видения: дедушкин дом с резным карнизом, веселая возня ребятишек, перекличка петухов. Сказочно красивый буланый конь гарцует среди двора под бравым всадником — отцом Изота Петровича. Кто-то играет на тальянке с алыми мехами. Хмельная веселая компания гудит во дворе, а тайга откликается всеми логами и скалами. Во дворе много собак — пестрых, рыжих, черных, гладких и лохматых, с клещами на ушах. Одна из них устроилась на веранде, а вокруг, подоткнув под нее носы, лежат упитанные щенки. И вот из дому на веранду выполз ребенок. Наткнулся на собаку, тронул ручонкой ее отвисшие сосцы... Умная собака понюхала его и стала облизывать. А вот тот же ребенок, но уже подросток. В доме идет гулянка. Кто-то дал ему браги. Развеселившись, он помчался по двору, юркнул под навес, где, спасаясь от жары, стояли кони. Кони замирают, поджимаются, а он носится под их животами, прячась от взрослых, которые с испуганными и молящими лицами зовут его к себе. Он схватился за толстую ногу буланого жеребца и спрятался за нее, потом выглянул, хохоча и ликуя. Он не помнит, как его выманили, но помнит толстые, как колонны, ноги лошадей и шерстистые, в толстых синих жилах, животы над головой. Помнит могучий и терпкий запах.

Изот Петрович открыл глаза и увидел все ту же картину. Умом он понимал, что скорбь его очень личная, субъективная. Другой, нездешний человек, может, не испытал бы такой щемящей тоски. И все-таки переломить себя Изот Петрович не мог. Ему было невыносимо жаль эту заимку. Сколько раз он собирался навестить места, где прошли его мальчишеские годы. Пять—шесть лет. В сущности, это немного. Но, если сравнить впечатления, которые даровала Изоту Петровичу сорокалетняя жизнь, на долю этих пяти—шести лет придется большая и лучшая часть. Здесь он увидел свет, почувствовал, как дороги мать, родной дом, узнал, что солнце светит и греет, а месяц только светит, что земля твердая, а вода жидкая, что нужно есть, пить, дышать, ощущать чью-то заботу и заботиться самому. Здесь он встал на ноги и пошел по земле как человек. Здесь он что-то покорил и сам чему-то покорился. Не хочется, ой как не хочется, чтобы следы его поросли быльем. Не хочется, чтобы обиталище человека превратилось в пустырь и дебри. Надо, чтобы везде, где жил человек, что-то от него оставалось — будь то заимка, село, город.

Изот Петрович пошарил по карманам и в одном из них нашел несколько кедровых орешков, которыми угостил его дядя-одногодок. Он пошел по траве к тому месту, где, как он помнил, была середина усадьбы. Бросил там орешки и вдавил в землю. Пусть. А вдруг да вырастут кедры. Вон как все растет тут! Когда-нибудь он еще навестит этот пяточок земли, который топтали его босые ноги. Тогда, может, будет раннее утро, над Калташкой будет висеть туман, и дышать будет легче — не как теперь. И, может, вот на этот взгорок выйдет молодой олень... Постой. Почему олень? Но все же хорошо, если бы и вправду олень...

Он нашел в кармане еще орешек и тоже вдавил его в землю. А когда оглянулся, прощаясь, ему показалось, что деревья, стоявшие на месте кладбища, тихо шевельнули ветвями.

В распутицу

С войны Тарас Калягин вернулся в Овсянку одним из первых: он попал под танк и левую руку ему изжевало гусеницей. Долго, до пролежней на спине, валялся Тарас в госпитале и сражался с медициной, посягавшей на эту руку — оттяпать хотели. Слава богу, рука зажила. Правда, стала она вроде палки: в локте не гнулась, двигалась только в плече. Поначалу и кисть работала плохо, потом понемногу размялась, пальцы стали шевелиться. И Тарас уже мог этой рукой придерживать какую-нибудь поделку, в то время как правая тесала топором или била молотком. Смог делать и несложные операции животным. Позднее наловчился навскидку бить из переломки по уткам.

Бабы овсянковские завидовали Тарасихе — муж у нее вернулся с войны, почитай, целый. Другие рады были бы хоть какому, да вместо мужей получили похоронные.

До войны Тарас закончил курсы ветеринарных санитаров. Два года работал на ветучастке, много ездил по колхозам с другом своим, ветеринарным фельдшером Анисимом Ожоговым. Все, что умел Анисим, перенял у него и Тарас. Вместе они потом служили в конно-механизированном корпусе. Анисим пропал без вести. А Тарас, выброшенный из седла взрывом, попал под танк, но остался жив. И, когда вернулся домой, пришлось ему ездить по участку одному. Жена плакала, что все одна с ребятишками и что от мужа толку ей нет никакого, так как дома его, почитай, не бывает.

Тарас входил в отчаянность положения. Не столько скальпелем да лекарствами спасал животин, сколько хозяйской оценкой дела и принятием, может, единственно верных решений. Едет, бывало, Тарас по степи и клочья сена по дороге подбирает, если валяются. А то завернет к вытаявшему остожью, подберет все, возок навьет, а потом на ферму в телятник или в родилку отдаст. И уполномоченных Тарас старался приучить к тому же. Ездил он и за экспедитора и за «толкача» — добывать на районных складах какие-нибудь сметки, мучную пыль и разные отходы. Добивался, чтоб скотину обреченную не держать для плана, в убыток за зря не входить, а забить, пока до полного истощения не дошла. В таком случае не сорокам и воронам достанется мясо, а людям. Иногда, чтоб законней выглядело это дело, приходилось Тарасу скрепя сердце составлять акты, указывая в них разные болезни, которых и не было. Тут простой расчет был. Если, скажем, двести голов не прокормить, а только сотню еле-еле, то половину лучше забить своевременно.

А когда с кормежкой туго, так скоту требуется еще больший догляд, профилактика и лечение. Но лекарств не хватало, и Тарас не чурался дедовских рецептов. Кровь пускал, дегтем да пеплом мокрецы лечил, отварами табака и черемши вшей и чесотку выводил, отрубями лишаи вышелушивал. Случалось, керосином и денатуратом поил скотину, чтобы кишечных паразитов изгнать.

Самая трудная и хлопотливая работа была весной, когда корма растягивали уже из последнего. Начинались отелы и окоты, а тут всякая зараза, почуяв тепло, голову поднимала. Да еще подросший молодняк приходилось холостить и на фермах, и по дворам.

Бывало, до войны любил Тарас погулять, с гармошкой в компаниях пошляться и удаль показать. Возьмет коня под грудки и на дыбки поставит. А дело это не столько силы требует, сколько хитрости. Или, скажем, злых собак в покорность привести. Глаз у Тараса такой, что самая свирепая тушуетя. Но ныне Тарас сосредоточен, нетороплив и замкнут. Не стар, а стариковское что-то в нем проглядывает. Улыбается он теперь редко, фокусов не показывает. Может, стесняется, что другие воют, а он дома, или что лицо у него иссечено не то порохом, не то окалиной. Ходил Тарас в зеленых солдатских брюках и в гимнастерке. Летом налегке, зимой — в ватной фуфайке или в полушубке да в теплых пимах выше колен. На боку у Тараса висела большая кирзовая сумка с аптекой. И пахло от него всегда карболкой да креолином.

Перед нынешней распутицей работал Тарас в самом отдаленном колхозе своего участка. Расчет был — закончить там все ветеринарные обработки, пока вешняя вода путь не отрезала. Колхоз стоял уже за степью, в таежном предгорье. Здесь много было речушек всяких, которые из тайги брались. И, когда таяли снега, от горы до горы сине делалось, — ни проехать, ни пройти. А в обход по горам не суйся, снег еще глубокий и весь водянистый. Ухнешь раз-другой — и мокрый до нитки. До костей проберет. Вот и спешил Тарас до распутицы управиться.

Управился и с постоя уже было снялся, когда пришла эта старуха с выселков. Истоиво, как встарь, она помолилась на образа, пожелала хозяевам добра, справилась о здоровье и лишь потом сказала про свою нужду. Корова у нее растелиться не может, чуть живая лежит. То ли резать ее, то ли спасать как. Выселки стоят на пути к Тарасову дому, может, он смилостивится — заедет.

Тарас задосадовал было. Но сразу же прогнал досаду. Жаль ему стало старую. По всему было видно, что это мать многодетная. Что касается теперешней ее беды, то уж Тарас-то понимал, что значит корова.

— Старая, молодая? — спросил он.

— Молодая, касатик, — торопливо стала объяснять старуха, — совсем молодая. Допрежь времени к быку пустили, чтоб молочка скорей дожждаться.

— Шибко худая?

— Шибко, касатик, шибко... Болтушку я ей сготовила, сенца нарезала.

Тарас невольно посмотрел на ее руки, сложенные на животе, под концами старенькой клетчатой шаленки. «Кости да кожа. Да живуча, видать... Живучи наши старушки, слава богу».

— Ну, ладно... — сказал Тарас. — Может, телком-то придется пожертвовать. Слышь, мать?

— Да уж бог с ним, с теленочком-то. Бог с ним. Коровку-то спасти бы, ребятенков у нас полон двор. Безотцовщина, — старуха ткнулась лицом в концы шаленки, и худые сгорбленные плечи ее затряслись. А Тарас, полный сочувствия к ней, спросил:

— Пешком, что ль, пришла?

— Пешком, родимый, пешком. Торопилась вот, не знаю как. Прямушкой карабкалась, пихтачами. — И сразу же она перестала плакать — меру знала — и вытерлась теми же концами шаленки.

На выселки вели две дороги: прямая — через гору и пихтач и кружная — в объезд горы. Прямушкой — сначала вдоль талого ключа, потом каменистым косогором и пихтачом — на лошадях зимой не ездили, ходили только на лыжах. А когда лыжня затвердевала, по ней

и без лыж пробирались и постепенно набивали пешую тропу. Кружная дорога сначала в сторону от выселков, вдоль отрога шла, а когда отрог кончался, постепенно заворачивала влево, выходила на большак и опять приближалась к выселкам, только уж с другой стороны отрога.

— Давно началось-то? — спросил еще Тарас.

— Да поди уж час прошел... Как началось, так я и побежала. Слышала, что здесь ты.

Подивившись, что четыре километра через гору старуха прошла так быстро, Тарас как бы ощутил все ее беспокойство и горе.

— Все ясно, мать. Сейчас поедем, — успокоил он старуху, доедая похлебку с картошкой и капустой.

Вскоро Тарас вышел из-за стола, поправил ремень. Он разогрелся — и от похлебки, и оттого, что перед едой выпил денатурату. Закурил, оделся, расстегнул сумку, проверил, не забыл ли чего.

Старуха смотрела на него, переступала с ноги на ногу, но торопить не смела, хотя от него зависело сейчас так много.

— Пшеница уже дам тебе, касатик, — сказала она, опять вытирая глаза краешком шали. — С осени еще берегу про черный день.

— Ну, ты это брось, мать. Ни к чему это, — мрачновато сказал Тарас.

Он вынул из брючного кармана часы, посмотрел и, упрятав их обратно, сказал:

— Коня жалеть не будем. Оно, хоть и в объезд, а пятнадцать-то километров за час поди одолеем. Ничего, мать. Вот только еще на пасеку завернуть надо. Просили.

Старуха как-то дернулась и испуганно заморгала глазами.

— Ничего, — утешил ее Тарас, — пасека, она по пути. Через нее же и на выселки прямая дорога идет. Пошли, мать.

Мухортка стоял уже запряженный перед воротами, и в сани была брошена охапка отборного зеленого сена. Конь клонил голову и гремел удилами, перекачивая их языком и зубами, скреб копытом размятую, истоптанную снеговину. По-весеннему кудахтали куры, в загородке взбрыкивал теленок, выпущенный на улицу по случаю теплой погоды, пахло прогретым навозом и свежесмазанной хомутиной.

Тарас велел старухе садиться в головки саней, а сам стал в задке на колени и натянул вожжи. Хозяин открыл ворота, конь рванулся, пошел размашистой рысью и, согреваясь, заекал селезенкой. Застоялся, по дому стосковался Мухортый.

Тарас сначала даже придерживал коня — пусть разомнется, потом уж можно гнать во весь дух. Ничего с ним не станется, отдохнул за эти дни.

Дорога была не очень каткая, кованые полозья скрипели и хлюпали, разрезая кашу из снега и талого навоза. След от полозьев слегка дымился и масляно блестел на солнце.

На пасеку Тарас заезжать не стал, боясь ухнуть в талый ключ. Этот ключ и в морозы плохо схватывало. Оставив коня у своротка, привязанным к остожным кольям, Тарас пошел на пасеку пешком. Сзади засеменяла и старуха.

— Да ты подожди, мать. Я скоро, — пообещал, оглянувшись, Тарас.

— Да нет уж, касатик. Нет, родимый. Ты тут управляйся, а я побегу. Тут через гору только перелезть. Версты две мне бежать-то осталось. Побегу я, побегу. Ох, господи. Ведь корова-то одна там у меня. Просила соседку да ребятишков доглядеть.

— Что ж ты сама побежала? Послать было некого, что ль?

— Некого, касатик, некого. Ребята малые. А тут гора, пихтач. Да и не в чем. А соседка-то старая — старее меня еще. Нас там всего две семьи ведь. И дочь у соседки, и Дарья наша на лесных заготовках как раз.

Дарью с выселков — невестку старухи — Тарас знал. Перед отправкой на лесозаготовки была она на мельнице. Плотная, по-мужски широкоплечая, красивая. Чем-то походила она на первую Тарасову любовь, латышку по происхождению. Дарья брала за углы мешки и шутя таскала их с саней в помолку. А теперь вот поди и лес вороочает не хуже мужика.

Там, где стояла пасека, виднелись три крыши и бугрились заваленные снегом какие-то пристройки или сараи. Все это глядело неприютно. Вроде бы и степь не приняла эти постройки, и тайга не осенила их, и стояли они как сироты. Раньше, бывало, еще с дороги виднелись здесь высокие поленницы веснодельных дров, зароды сена у пригона, широко огребенный и подметенный двор. Теперь виднелись только крыши, придавленные снегом.

Тарас шел скорым, размашистым шагом, а старуха не отставала: как ветхая галка, торопилась сзади и все рассказывала.

Три старухиных сына были убиты в первый же год войны. Четвертый, Дарьин муж, продолжал воевать, но что-то давно уж не было от него вестей. Старик умер в сорок четвертом, и Дарья осталась теперь единственной кормилицей. Дарья да коровенка.

За ключом Тарас свернул к пасеке, а старуха, миновав ее, все так же торопливо перебирая ногами в просторных опорках, пошла вверх по логу, где синел густой пихтач.

Дело у Тараса было несложным, однако пришлось подзадержаться. Два дня назад Тарас облегчил тут годовалого бычка и строго наказал хозяевам следить, чтобы бычок не улежся в грязь. И все-таки рана загрязнилась. Тарасу пришлось очистить ее, промыть перекисью водорода и щедро засыпать стрептоцидом. Пасечник уговаривал его поужинать, обещал угостить сотовым медом. Но Тарасу теперь и во все надо было спешить. Теперь — погоняй не стой.

Еще раз растолковав пасечнику насчет бычка, Тарас вымыл руки с карболкой и поспешил за ограду. Солнце уже клонилось к закату. Воробьи, обсыпав наличники избы, ошалело галдели, собираясь к ночлегу. На кольях, в конце пасечного подворья, вертелись сороки: наверно, учуяли кровь после операции, ради которой и заходил Тарас на пасеку. Под ногами уже похрустывало, но воздух от талого дыхания пригретых снегов был еще влажен. Натаявшие за день сосульки, не выдержав собственного веса, со стеклянным звоном отрывались от карнизов. Снега окрест словно бы ужимались, оседали, охали, постанывали, как лед в канун ледохода, и так же чуть позванивали — и всюду слышался еле уловимый шорох. С востока шли сумеречные тени, и в горном пихтаче за пасекой уже копилась томительно-грустная синева дремоты. Скоро в горах, в тайге совсем набухнут снега, в лога хлынут располневшие ручьи, зашумит половодье. Через день-другой оно выкатится в степь и на время перекроет все дороги.

Выйдя за ограду, Тарас увидел, что Мухортки у дороги нет. Он собрался было изругаться, да не захотел огорчать хозяев, вышедших его проводить. Они бы, конечно, себя виноватить стали — позвали человека, а коня не доглядели. Лишь отойдя немного, Тарас матюгнулся и, злой, почти рысью побежал догонять Мухортного. Ветеринарская сумка захлопала по боку, и склянки в ней затарахтели.

Конь сдернул с кольев захлестнутый повод, — наверно, зубами, баловался. И теперь, может, далеко уже ушагал к дому. Он и прежде

раза два убежал, за что Тарас собирался его наказать. А теперь Мухортый уж и подавно заслужил порки. В дороге коня обыкновенно кто-нибудь останавливал, привязывал к первому кусту или гнал обратно, зная, чей он. На это и рассчитывал сейчас Тарас. Хорошо бы, если бы конь свернул к какому-нибудь остожью у дороги и там стоял бы, кормился.

Тарас шел и ругал сначала коня, а потом и себя за то, что не взял из дому кирзовых сапог, хотя погода подсказывала. Кое-где в пониженных местах проступала вода, а на Тарасе — пимы. Не сегодня-завтра дорога вовсе сломается. Тарас знал, что в предгорных местах речки сильнее всего и вдруг разливаются к ночи, а в этот день таяло особенно сильно. Тарас спешил выйти на большак. На пути к нему надо было пересечь еще две речушки. Их за зиму начисто замело снегом, и если бы не тальник по берегам, то и не подумал бы про них. Правда, в том месте, где дорога пересекала русло, заметны были небольшие рытвинки, или, как их здесь называли, нырки. В одном таком нырке стояла вода, а выше, видать, получился затор, вода урчала под снегом в корнях старых талин.

Тарас скинул пимы и в носках, закатав повыше гачи, пошел через нырок вброд, стараясь нащупывать твердое место. На том берегу он выжал носки и обулся. Скоро он дошел и до второго нырка. Здесь тоже была вода, и в ней плавала дощечка с саней. Значит, Мухортый пересек речку, сани всплыли, и плохо прибитую дощечку смыло. Сено с саней тоже смыло, и оно теперь сгрудилось к одному берегу в угол, где вода, наверно, проела себе выход. Здесь Тарас не только разулся, но и снял портки. Воды было по пояс. Когда выбрался на другую сторону и оделся-обулся, то, не мешкая, достал из сумки бутылку с денатуратом и выпил почти все, что в ней оставалось.

До большака теперь было всего с версту, и опасных мест вроде не было. Тарас захмелел, ему стало хорошо. Наступила ночь, но какая-то необыкновенная. Было довольно тепло, то есть настолько прохладно, что слегка подморозило лужицы, и вместе с тем в воздухе стояла ровная, мучнистая туманность, похожая на легкую порошу. И небо тоже было мучнистое, а луна в нем угадывалась, как расплывчатая серебристая округлость.

Тарас шел и разговаривал сам с собой. Конь, мол, никуда не денется. В ближней деревне, до которой всего верст пять, его остановят. Скорей всего он и сам уже завернул на конный двор, потому как родом оттуда. А весна, оно конечно... Вот уже полая вода пошла, и хорошо, что успел вырваться из дальнего колхоза. Но знал бы Тарас, что коня никто не остановит, не гнался бы за ним, а пошел бы на выселки прямушкой. Уже давно был бы на месте. Старуха, наверно, извелась совсем. Надо было сказать ей, что случилось Тарасу и часа по три возиться с первотелками — и ничего, потом жили и доились. Надо было пообещать, что будет он на выселках непременно, что коровенка ее целой останется, молоко будет, и ребятишки с голоду не помрут. Снег сойдет — черемша появится, калба, по-местному. Тайга же рядом. Все-таки питание. А в степи и черемши нет. Правда, кое-какие съедобные травы и там растут. Главное вот, когда начнут картофелища перепаживать. Сколько-то и картошки выпашут. Снег тут глубокий, земля не промерзает, картошка и всякие луковки до весны сохраняются. Для озимых тоже благодать... Ничего, ничего... Война к концу идет, врага бьем на его земле. Скоро победа... Уцелевшие мужики домой вернутся. Да ладно, однако. Не надо шибко-то загадывать. Просто охота, чтоб все хорошо вышло, чтоб никаких, значит, войн на земле больше не было.

Но как ни рассуждал Тарас, а старуха из головы не выходила. Надо ж, как получился. Ну, Мухортка, ну и тварина! Хотя, конечно, и коня в такую пору бросать на произвол судьбы не годится. Одно оставалось — торопиться.

Дорога пошла влево к большаку, а справа потянулся последний мысок с перелеском. И Тарас слышал, как там, на мыске, нет-нет да и вздохнет какая-нибудь осинка или березка, стряхивая давящий ее снег. Рослые тонкие деревца здешним снегом нередко пригибаются к самой земле. Бывает, березки даже метров семи высотой в дугу сгибаются, на лыжах под ними проходишь, как под аркой. Теперь все распрямлялось, отряхивалось от талого снега и тянуло соки из земли.

А вот и большак. Весь черный от навоза. Даже мучнистая пороша не забелила его. Это сколько ж возов и обозов прошло, если весь он сенинками и конским пометом усыпан?

Тарас передвинул сумку, чтобы плечо в другом месте давило, и пошел большаком к уже замаячившей впереди деревне. А ночь была все такая же белая, глухо и таинственно было вокруг. Перед полкой водой нередко бывают такие ночи. Лишь иногда слышались шорох оседавшего снега да сонный бульк скопившейся где-то воды. И Тарасу казалось, что, пробуждаясь, вздрагивает земля, расправляются озимые, проклевываются ростки. И все исподволь уже готовится к очередному обновлению.

Белая ночь, чуткая тишина, темный уनावоженный большак, чуть слышные вздохи и шевеления под снегом, сонно маячившая впереди деревня — все это волновало Тараса, обостряло в нем всегдашнее чувство любви к этой вот земле, к людям, ко всему живому и сущему. Денатурат тоже, конечно, оказывал свое действие, иначе бы Тарас молча размышлял. Думы свои и чувства выражал он одним-двумя словами, по которым посторонний человек вряд ли что понял бы. Вот и про большак Тарас сказал коротко: «Сколько же?» А это значило, что и раньше, и особенно в военные годы, много-много народу прошло по большаку. Тысячи солдат прошли здесь вон туда, где идет война. Многие в последний раз. А назад вернулись пока вот такие калеки, как Тарас. Но жива душа, и жив человек... И думает он, как бы наладить жизнь так, чтоб перестала эта дорога уводить людей, чтоб не слышала она больше бабьего плача, чтоб ни одна слеза на нее не капнула.

До деревни оставалось совсем уж недалеко. Тарас шел и разговаривал сам с собой. Вот ведь каждый божий день зовут его люди на помощь. Такая у Тараса работа. И раз уж он не погиб, раз уж вернулся в свои края, то как же ему не выручать людей, не помогать им по силе возможности? Да где это видано, чтоб раскис Тарас или сдался? Не будет этого, нет, не будет!..

Сначала Тарас удивился, когда увидел волка, сидящего среди дороги. За войну их много расплодилось, но чтобы волки человека совсем не боялись — не слышно было. А этот, похоже, не только не боялся, но даже имел намерение.

Волков, как и собак, Тарас не страшился. Волки-то особенно опасны во время свадеб, но свадьбы их кончились в феврале, а сейчас был апрель.

Тарас понял, что этот волк не сойдет с дороги и если не бросится сразу, то будет ждать, пока не появятся другие. Тут надо было самому наступать. Поэтому Тарас как шел, так и продолжал идти. На ходу он расстегнул сумку, на ощупь вынул резиновую толстую перчатку, натянул ее на левую руку, которая мерзла всегда больше правой. Да

еще рукав телогрейки приспустил. А в правую руку взял самый большой скальпель-косторез.

— Тебя только не хватало, фашист проклятый! — выругался Тарас, прибавляя шагу и клонясь вперед. — Тут без тебя, пакость ты этакая, забот полон рот...

Говорят, что в минуту опасности перед человеком мгновенно проходит вся его жизнь. Если людям дано такое, то не зря, наверно. Промелькнет вдруг пережитое, мать, отец, друзья — все дорогие люди. Сожмется сердце от сознания, что многих надежд ты еще не оправдал, еще не сделал того, что задумал. И поймет человек, что надо ему жить — непременно жить, чтобы увидеть то, чего еще не увидел, и содейть то, для чего предназначен. И станет человек бороться за жизнь с удесятеренной силой и энергией.

Тараса со скоростью молнии пронзила мысль о детях — какие они сейчас и какими стать должны, о покойной матушке, о жене, надсадившейся на работе. И снова вспомнил он старуху с выселок. Без него ей ну никак не обойтись.

Светло, бело в воздухе. Тарас хорошо видит волка, а тот — Тараса. Волк здоровенный, с седым, почти белым загривком, кудлатый и такой худой, что спина коромыслом. Старик. Одиночка.

— А ну отваливай, пропастина! — Тарас резким движением локтя подкинул сумку. Она, сильно затарахтев, отлетела за спину. Расчет у Тараса был спугнуть зверя металлическим звяком. — Кому сказано?

Волк лишь переступил да приспустил лобастую голову.

— Ну, та-ак, — Тарас выхватил из кармана бутылку из-под денатурата и, размахнувшись, пустил ее в волка. Но бутылка сорвалась и улетела в сторону. А произошло это потому, что Тарас держал ее только двумя пальцами — остальными сжимал скальпель.

Теперь уж было совсем близко. Изготовившись получше и страшно матерясь, Тарас кинулся на зверя. Волк щерился, дыбил загривок, но не издавал ни звука.

— Не хочешь по-доброму. Ну ладно...

По роду ветеринарских занятий Тарас, бывало, в собачьи глотки и руками лазил. У овчарки, сказать, пасть-то не меньше волчьей.

Они уже сошлись — человек и зверь — и глядели в глаза друг другу.

— Н-на! Ешь, мать твою!.. — заорал Тарас и сунул руку-палку в волчью морду. Тотчас раздалось краткое с выдохом «хамк», и рука слегка хрустнула. Боли Тарас не почувствовал, но вся ладонь оказалась в волчьей пасти. Он потянул руку. И волк потянул, потом на момент ослабил хватку, — видно, чтоб перехватиться повыше. Но и Тарас знал, что делать. Он успел двинуть ладонь ближе к волчьей глотке и схватился пальцами за нижнюю челюсть, должно быть, прихватив и язык, как раз в том месте, где у хищников как бы беззубое пространство.

— Ну, теперь держись, тварина! — уже не так грозно сказал Тарас и стал деловито пинать зверя под бока, в ребра, куда попало.

Волк морщил кожу выше ноздрей, задыхался, вроде кашлял даже, но челюстей не разжимал и жег человека светящимися лунными отблесками, безбоязными своими глазами. Тарас, уверенный, что зверю теперь ни взад ни вперед (лишь бы кувыркатся не догадался, а то еще руку вывернет), подтянул его не столько рукой, сколько плечом и стал бить скальпелем, стараясь достать шею и горло. Но волк, как и прежде, не разжимал челюстей. Тарасу было неудобно: можно было промазать и всадить скальпель себе в руку, и он бил те-

перь с выбором — в то время, как дергал плечом на себя. Эх, гнулась бы рука!..

— Бешаный... Действительно ты, падла, бешаный. Рази ж нормальный зверь стал бы... А зубы-то старые, слабые, — не то злорадовал, не то жалел Тарас. — Так тебе что, вражина, другой добычи не было? Ишь, чего захотел.

Тарас не забывал и оглядываться. Невероятной ему казалась дерзость зверя-одиночки. Но никаких волков больше не предвиделось. Как бы то ни было, а зверя он победит (тот уже сильно сдал и почти висел на руке). Волк храпел, брызгал пеной вперемешку с кровью, но руку не выпускал. Вот тварь, так тварь! Недаром говорится, что у волка — мертвая хватка. Хоть рука у Тараса сильно занемела, но и сам он держал волка мертвой хваткой.

Тарас поволок волка по дороге и скоро очутился у самой околицы села. Хмель из него вышел. Впереди, в канаве, синела, проступая через снег, вода. Тарас хотел было утопить тут волка. Но его уже учуяли собаки, сбежалась целая стая и давай трепать... На лай и крики прибежал знакомый конюх, разогнал собак и кое-как разжал мертвые челюсти волка, освобождая руку. «Язви ее. Всегда левой-то больше достается», — огорчился Тарас, разминая пальцы. Но мешкать было некогда. До выселков осталось версты полторы. У околицы — конный свороток, по которому теперь и надлежало идти Тарасу. Оказалось, что Мухортый добрался-таки до родной конюшни и уже прибран. Он даже заржал, услышав хозяина. В два счета Тарас с помощью конюха запряг его и погнал на выселки.

Прошло больше трех часов, как ушла с пасеки старуха, и Тарас уже не в шутку опасался за ее коровенку.

...В старухиной избе тускло светилось окошко, а сама она и ее соседка, да еще трое огольцов хлопотали возле лежавшей пластом коровы. Они и под голову-то ей положили что-то мягкое, и медовой сытой поили, и растирали, и уговаривали потерпеть. Старуха пыталась выправить голову теленка, но сил на это у нее не хватало.

Теленок уродился крупный, от колхозного племенного быка. Это же чистое наказание. Быков завели породистых, а коровенки все те же, маломощные. Телята рождаются большие, головатые, долговязые, пуда по два, а то и больше. Справной коровенке и то непросто растелиться, а тут была совсем еще телушенка. Наруже были пока только две ножки новорожденного с аккуратными белыми копытцами, и по ним Тарас определил, что это, слава богу, телочка, голова у нее все же поменьше, чем у бычка.

Старуха, уже потерявшая всякую веру в спасение коровы, словно бы очнулась, принесла ведро теплой воды, полотенце. Тарас вымыл руки карболовым мылом, смазал их вазелином. Скоро он выправил обе ножки и голову теленка. Никаких изъязнов у коровы не обнаружилось, просто отощала она. Пришлось делать петлю из полотенца и вожжой обратять голову теленка.

Вот и новорожденный. Тарас взялся растирать ему шею, а корова, закатив глаза и совершенно обессилев, лежала недвижно. Бока ее были мокры от пота и дрожали в мелкой судороге. Тарас велел укрыть ее потеплее, а как отдохнет и поднимет голову, дать ей теплого поила или той болтушки, про которую поминала старуха. Да она теперь и сама знала, что делать. Надо же! Телочка. Целенькая да хорошая. И, даст бог, обыгается скоро. Старуха ласково растирала и сушила теленка, обхаживала корову и без умолку благодарила Тараса и бога.

— Сейчас я пшеница... пшеница-то ужо принесу тебе.

— Оставь, мать, оставь, слышь.

Тарас проговорил это негромко, но твердо. И все же старуха побежала и принесла мешочек с пшеном. Тарас рассердился, но сдержался, положил ей руку на сухое плечо:

— Я же тебе сказал, мать. Не надо. Ребят корми.

Старуха опять принялась благодарить Тараса и даже как будто опечалилась, что он не принял мешочка. И тут вдруг заметила, что фуфайка на Тарасе вся изодрана. Она разохалась, вызвалась починить ее, но Тарас отказался.

— Устал я, мать. Конь-то у меня убежал. Вот и пришлось, почитай, всю дорогу пехом. Ну прощевай, мать. Как будто обошлось.

Старуха поклонилась Тарасу в пояс и пожелала ему счастливого пути.

Когда Тарас выехал на дорогу, лунный, серебристый свет уже пропал, и теперь стояла та самая тьма, какая обычно бывает в пору распутицы.

Тарас благополучно добрался до избы конюха. Остатка ночи ему хватило, чтобы смазаться йодом, сделать перевязку и выспаться. Ранно утром конюхова жинка починила ему штаны и фуфайку.

Наравне со всеми явился Тарас в колхозную контору. Там он разговаривал с ветучастком, и велено было ему немедленно отправиться в Грязнуху — самое большое село, стоящее на тракте. Там всему скотскому поголовью надлежало сделать внешние обработки и прививки. Тарас, не мешкая, выехал. Такая была работа.

Странники

Ночую я в колхозной гостинице, кормлюсь в колхозной столовой. Это совсем недорого, и колхозникам, казалось бы, прямой расчет ходить в столовую, но бывают тут только интернатовцы, одиночки да приезжие вроде меня.

В это утро на завтрак я припоздал. Все уже наелись и разошлись, и мне казалось, что только я сижу и задерживаю столовских. Я торопился, но компот был горячий...

После шумных интернатовцев, после топанья, звяканья ложек и тарелок в столовой наступила тишина, как в доме, где была большая семья, а потом вдруг все разъехались. И вот в этой тишине неожиданно за моей спиной прозвучало очень общительно и домашне-своиски:

— Из города?

Оглядываюсь, чтобы убедиться, ко мне ли это относится. Ко мне.

За пустым, уже прибранным столом сидит человек с большими ребячьими ушами, радостно-теплыми глазами и личиком в многочисленных веселых складках. Чуть не захлебнувшись от неожиданности, я ответил, что да, приехал из города.

— На автобусе? — все так же весело и дружески спросил человек.

Я кивнул, допивая из стакана.

— А я, слышь, сюда на моторе прикатил. По знакомству бесплатно приехал. В таксопарке у меня батя работает. Не родный, правда.

— На такси, значит?

— Ага. С шиком! «Волга» последнего образца.

Многим, наверно, приходилось встречать непривычно общитель-

ных людей: одним обязательно надо что-то рассказать — хоть анекдотец, хоть прибаутку, чтобы себя показать, другие просто не переносят молчания; третьи свою корысть имеют. Но в этом человеке общительность была какая-то совсем детская: глядел он не только дружески, а и доверительно. Неловкости перед ним я не испытывал.

— Так, так... Ага! Во! Как раз, — продолжал он с веселой беззаботностью сытого котенка. — Ага. Точно... Есть!

И тут грянула знакомая мелодия — позывные последних известий. Оказывается, на шее у моего собеседника висел малюсенький транзистор в блестящем кожаном чехольчике. Заметив мое внимание, он пояснил:

— «Эра-М-2». — И тут же назвал номер модели и цену. И поспешно, вроде боясь, что я невыгодно подумаю о нем, стал рассказывать, что прежде у него была «Спидола» ВЭФ-12 хорошая. Но «Спидола» тяжеловата, да и антенну выпускать надоело. И он ее продал — как раз деньги были нужны, а купил вот этот приемничек. Без музыки скучно. Привык.

Я пошел одеваться, и он пошел. Я спешил, и он не отставал да еще успевал рассказывать и все ласково поглядывал на меня.

...Бывали у него и большие стационарные радиоприемники — он опять назвал несколько марок и моделей — и сейчас дома есть кое-что, но все они скоро устареют, забьют их телевизоры и вот эти крошечные «микро».

А «микро» меж тем продолжало передавать известия.

— Не... Это я уже слышал, — сказал он, приглушая передачу.

Вместе мы вышли из столовой и дошли до развилка дороги. Мне надо было в контору, ему — на свиноферму. Пока шли, он, как мальчишка, попинывал громадными тупоносими валенками лошадиные копытца и, конечно, опять рассказывал о себе.

...Сюда он приехал недавно. Порядки тут не очень... Кое-кого следовало бы в газете протащить. Работает он на свиноферме кочегаром. Котел там марки такой-то, а надо бы сменить его на марку такую-то, и вентиля поставить другие, марки такой-то. И кормозапарник — марка такая-то — следовало бы давно уж заменить на более мощный — марки такой-то, и тогда бы каждая свинья по уши была в теплом пойле. Женат. Двое детей. Но семейная жизнь не ладится, жена пока в Свердловской области проживает. Если, говорит, не дадут тебе хорошую квартиру, я к тебе не приеду, один мыкайся. Ну, а с квартирой пока не получается...

Мы разошлись. Он пошел на свою работу, я — на свою.

В конторе мне пришлось посмотреть годовые отчеты колхоза, побеседовать с главным экономистом, секретарем парткома и самим председателем. И все это время я почему-то не мог отделаться от мысли о новом знакомом. Это, наверно, потому, что нечасто встречаются нам люди, которые и в зрелые годы сохраняют в себе что-то ребячье. Мне, признаться, они нравятся, и всегда делается не по себе, если их обижают.

В конторе, между прочим, речь зашла и о переселенцах. Бухгалтер принес председателю выкладки о затратах на переселенцев. Здешний председатель — человек знаменитый, проработавший на одном месте много лет. Сталкивался он с разным народом по всякой нужде и человеческую натуру изучил досконально. Оттого-то и странно было слышать, как этот человек, разводя в недоумении руками, с сожалением говорил:

— Не понимаю. Ну чего еще не хватает людям?

Речь шла о переселенцах из западных областей. Везли их через

всю страну с удобствами. Иная семья целый вагон занимала. И все за государственный счет. По прибытии на место все домообзаводство им полагается тоже за счет государства или колхоза. Выдаются внушительные ссуды. На станциях переселенцев встречают с оркестрами, на легковых машинах развозят по селам. Словом, хлопчут, радуют, оказывают всяческое содействие. В пять, а то и в шесть тысяч рублей обходится государству иная семья. А там, глядишь, кто-то уже подался дальше. И опять хлопоты, тяжбы, разбирательства. С явных летунов ссуды, конечно, взыскивают, но, должно, не полностью, и много денег за зря пропадает.

— Да вот вам пример, — председатель кивнул на стоявшего у порога посетителя: — Не успел еще обжиться-осмотреться, а уже на новое место засобирался.

Это был темно-русый здоровый человек, не очень-то разговорчивый и не часто смотревший на председателя. То ли чем-то озабочен, то ли обижен. Его несколько раз приглашали сесть к столу, но он оставался у порога, привалясь к косяку и держа в руках лохматую ушанку:

— Нич-чо... Мы тут...

Чем он был недоволен? Слушая его, невозможно было не улыбнуться. Оказывается, много лишнего наговорили про здешний колхоз. Конечно, хозяйство хорошее, и председатель хороший, и в нужде никто не живет, и, если работать как следует, жить можно припеваючи, и, само собой, нет у него ни к кому претензий. Но жить он тут не останется. Пусть вербовщики и специально отпечатанные листовки поменьше пены пускают. Колхоз как колхоз. Есть и на западе такие. Вот в ранешних брошюрах говорилось, какие трудности ожидают переселенца, а теперь — ну никаких тебе трудностей. Одни удовольствия.

— Недоволен, значит, что без трудностей? — спрашивает председатель. Вопрос остается без ответа. Переселенец вздыхает и молчит.

— Дом у тебя есть, — снова начинает председатель. — В доме достаток. Ну? Школа-интернат. Автобусы ходят во все стороны. Все механизировано, ручных работ мало. Ну? Чего еще? Лесу нет? Так будет лес. Вон какая роща растет. Старые пашни тоже частично лесом засеем. Подождать, конечно, надо. А как же? Вот пруд собираемся строить на тыщу гектаров, карпов разводить будем. Тут тебе и рыбалка. Ну?

— Да нет уж, поеду.

— На западе ты не густо зарабатывал. Сам говорил: народу избыток, за хорошей работой в очередь стоят. Видишь, как оно получается. Где густо, а где пусто. Разве дело это? — приехал, а теперь уезжать. Надо же гражданскую совесть иметь.

— Совесть я имею, — возразил переселенец. — А деньги оно, конечно, так. Да ведь деньги — это еще не все для жизни.

Председатель молчит. Он и сам знает, что деньги еще не все. Он предлагает закурить, но посетитель отказывается — не курящий.

Председателю явно не хочется терять здорового, некурящего да, видно, и непьющего человека. Но тот стоит на своем.

— Может, ты места покрасивее ищешь?

Переселенец глядит мимо и выше головы председателя:

— Да нет. Я уже поездил. В самых красивых местах побывал.

— Ну вот. Даже самые красивые места тебе не понравились. Впрочем... Броская красота — она быстрее надоедает. А ты вот присмотришься к нашим местам, приживись. Я ведь тоже из Курской области. А вот уже тридцать лет здесь. И год от году все больше при-

вязаюсь. А? Понимаешь... Вот есть такие вот... Ну, сказать, бабенки. Этакая вроде серенькая сначала. Овсяночка такая. А потом, знаешь...

— Дело не в том, что красота чужая. Народ там не по-нашенски держится.

— Как это не по-нашенски? — председатель как бы споткнулся. Он зашел было с лирической стороны, а тут на тебе. — Как это не по-нашенски? Советская власть, она, брат, для всех одна.

Переселенец опять вздохнул и, мучительно морщась, отвернулся в другой угол.

— В тайгу подамся. Не степной я человек. Когда агитировали, все про зверье непуганое говорили, про дикую природу, а тут такая же степь. Обжитая вся... — Он хотел что-то добавить, но вдруг поперхнулся, переступил с ноги на ногу и в пол уставился. Наверно, пожалел, что слишком разговорился.

Когда он ушел, председатель долго молчал, шевелил седыми бровями и густо дымил папиросой. Потом сказал:

— Вот, видали? Обычно летают всякие плакальщики да жалобщики. Ничем на них не угодишь. А тут еще эти появились... как их... романтики, вечные странники...

Пользуясь случаем, я сказал, что познакомился с человеком, который тоже переселенец. Живет в гостинице, а работает на свиноферме. И тоже какой-то вроде странный.

Но председатель, извиняясь, приложил руку к груди, позвонил в гараж, чтоб «Волгу» к конторе подогнали, потому что опаздывает на бюро. Он успел сказать только, что знает этого человека, присматривается к нему, дескать, поживем — увидим.

Председатель уехал, а я отправился на обед, размышляя о людях, поступки которых почему-то кажутся странными. Я давно живу на Амуре и всякий раз, когда бываю в селах, узнаю какие-нибудь свежие переселенческие истории. Вот приехал человек на новое место. Позади многие тысячи километров. Дали ему земельный надел, дом, корову, мелкую живность. Все есть, а живет словно без души. Надел зарос бурьяном. Дом не огорожен и не улажен. Рано или поздно такой дом однажды опустеет. Но вот в этот же дом другая семья въехала. И он ожил. Приветливо светятся окна, стены заштукатурены и выбелены. Дом снаружи шелевкой обшит и покрашен. Штакетник, воротца, летняя кухонька, огород со всякой всячиной. Крыжовник, малина, смородина, клубника, да еще ульи откуда-то взялись. А в сущности, живет тут такой же человек, как тот, что уехал. Физически даже послабее. Просто душа другая. И на колхозной работе он не последний. Люди, уважающие труд, говорят почтительно: «хозяин». Во все времена славен человек, который много трудится, любит и по мере сил украшает землю.

Известны и такие истории, когда переселенец не прижился, уехал, а потом опять пишет, хочет вернуться. И ему разрешают, и думаю, что правильно делают. Так что чуть ли не в каждом колхозе есть дважды переселенцы.

Ну, а тот, с которым председатель говорил, ведь тоже, наверно, по-своему прав. Ему обещали дикую тайгу с непуганым зверьем. А привезли в обжитую степь. Вот он и хочет исправить ошибку.

Может, я и еще поразмышлял бы в таком духе, но, заметив, что у столовой, ежась от мороза, стоит мой знакомый, удивился и даже несколько растрогался. Оказывается, он поджидал меня.

За обедом и потом, когда мы возвращались с обеда, узнал я, что зовут его Гриша Мамаев и что родом он отсюда, с Амура. Отец не

родной, мать женщина характерная, шумливая и выпить любит. В войну он сбежал из дому. Поймали, воспитывали в колонии, железнодорожную специальность «привили», и потом работал он почти на всех марках паровозов и тепловозов. Тут же он назвал марки всех этих машин и их технико-экономические показатели. Свою худобу объяснил тем, что работал на вредных работах. А вообще-то не в коня овес. Другие вон какие ряшки наели, а он все худой.

На нем был серо-зеленый, почти до колен, просторный ватник, ватные же брюки и большие подшитые валенки.

Я все ждал, когда он пожалуется, он ведь знал, что я от газеты, но он не жаловался, все о себе рассказывал, и все так получалось, что жизнь его накрепко с техникой связана, марки и номера которой он упоминал то и дело.

— Если, как переселенцу, не дадут квартиру, то, конечно, придется пятки смазывать, — вдруг сказал он. — Жена не поедет. Она такая.

Я поспешил его успокоить. Мол, в здешнем колхозе, если человек работает, в кусты не глядит, обязательно квартиру дадут, помогут устроиться. Колхоз богатый, председатель опытный.

— Да, но вот, видите, других переселенцев на вербовали сюда, а я-то самостийно, — пояснил Гриша. — Как думаете, они могут оформить меня как переселенца?

Какая им разница? Хотя оно, конечно, интересно получается: на родину вернулся, а переселенец.

По дороге в кино нам встретился председатель и глянул с недоумением, — наверно, подумал, что переселенец ходит за мной и плачется, а я слушаю и, чего доброго, еще возьму на карандаш.

Когда стали крутить журнал, где показывали крупные боевые учения, Гриша в затылок мне пояснял насчет мощности танковых моторов, скоростей, современных самолетов и разрушительных сил атома.

Поздно вечером, поднимаясь к себе на второй этаж, я продолжал думать о Грише. Да, видно, не хватало ему человеческого тепла, не хватало товарищей, которые бы отнеслись к нему, как к равному. Председатель принял его в колхоз с испытательным сроком. Куда интереснее было бы принять семью с двумя-тремя работниками. Наконец, и физически крепкие люди были нужней, чем мой знакомый. Колхозники-старожилы тоже вряд ли возлагали на него большие надежды. Он был слабак, да еще чудаковатый. В кочегарку на свиноферме его направили лишь на том основании, что кочегарил когда-то на паровозах. У таких, как Гриша Мамаев, наверно, редко спрашивают, какую работу они хотели бы. Скорее им дают, что подвернется, да еще с испытательным сроком. И, конечно, человек в таком положении чувствует неудовлетворенность. В Грише это тоже было, только на показ не выставлялось. Он просто давал понять, какой он технически грамотный и знающий человек. А уж вы судите сами, чего он стоит.

Гриша ведь в колхоз приехал сам. И это должны были оценить. Но пока еще не оценили.

Между прочим, люди, похожие на Гришу, встречались мне и в других местах, не только в селах, но и в городе тоже. Одних не устраивает работа, других — местность, третьих не так встретили, не так с ними обошлись. И все они хотели бы, чтобы их поняли, — душу поняли и оценили. И в этом, видно, есть что-то. Иначе почему же они странствуют?